



**Дмитрий
Сергеевич
ЛИХАЧЕВ**

род. 1906

Министерство безопасности России
28 сентября 1993 года
№ 10/16—10807

Лихачев Дмитрий Сергеевич, 1906 года рождения, уроженец Санкт-Петербурга, русский, с высшим образованием, беспартийный, гражданин СССР, до ареста безработный, проживал по адресу: Ленинград, ул. Гатчинская, 26—3а.

Арестован 8 февраля 1928 года ПП ОГПУ ЛВО по обвинению в пр. пр. ст. 58-11 УК РСФСР (организационная деятельность, направленная к совершению к/р преступления). Постановлением Коллегии ОГПУ от 8 октября 1928 года определено содержание в концлагере сроком на 5 лет.

Постановлением Коллегии ОГПУ от 2 октября 1932 года во изменение прежнего постановления Д. С. Лихачева определено лишить права проживания в 12 п. п. и Уральской области с прикреплением к определенному месту жительства на оставшийся срок.

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 27 июля 1936 года судимость с Д. С. Лихачева снята.

Д. С. Лихачев реабилитирован по заключению зам. прокурора Санкт-Петербурга 12 февраля 1992 года.

Из книги «Писатели Ленинграда»

Лихачев Дмитрий Сергеевич (28.11.1906, Петербург) — литературовед, критик. Действительный член АН СССР. Дважды лауреат Гос. премии СССР (1952 — за научный труд «История культуры Древней Руси», в 2-х тт., коллективная работа; 1969 — за книгу «Поэтика древнерусской литературы»). Окончил Ленинградский университет по романо-германским и славяно-русским секциям этно-лингв. отделения факультета общественных наук (1928). Первую научную работу написал в студенческие годы. После окончания университета был редактором в издательствах. В 1938 стал научным сотрудником ИРЛИ, с 1954 заведует отделом древней русской литературы. Перевел с древнерусского языка «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», воинские повести и другие памятники старинной русской письменности. Инициатор и редактор многих коллективных научных трудов и изданий в области древнерусской и новой русской литературы. Участвовал в написании академической «Истории русской литературы», написал ряд глав в коллективном труде «История культуры Древней Руси», в «Очерках по истории СССР» и многие другие. Автор статей: «Будущее литературы как предмет изучения» («Новый мир», 1979, № 9), «Заметки о русском» («Новый мир», 1980, № 3). Награжден медалью «За трудовое отличие» и болгарским орденом Кирилла и Мефодия I ст. В 1980 стал первым лауреатом Международной премии им. братьев Кирилла и Мефодия.

Оборона древнерусских городов. Л., 1942.— В соавт. с М. Тихановой; Национальное самосознание Древней Руси. М.— Л., 1945; Новгород Великий: Очерк истории культуры Новгорода XI — XVII вв. Л., 1945 и 1959; Культура Руси эпохи образования русского национального государства. Л., 1946; Русские летописи и их культурно-историческое значение. М.— Л., 1947; Слово о полку Игореве: Ист.-лит. очерк. М.— Л., 1950 и др. изд.; Возникновение русской литературы. М.— Л., 1952; Изучение древней русской литературы за последние десять лет: М., 1955; Человек в литературе Древней Руси. М.— Л., 1958; Культура русского народа X — XVII вв. М.— Л., 1961; «Слово о полку Игореве» — героический пролог русской литературы. Л., 1961 и 1967; Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. Л.— М., 1962; Текстология: На материале русской литературы X — XVII вв. М.— Л., 1962 и 1964; Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967 и др. издания; Человек в литературе Древней Руси. М.— Л., 1970; Художественное наследие

Древней Руси и современность. Л., 1971.— В соавт. с В. Лихачевой; Развитие русской литературы X — XVII вв.: Эпохи и стили. Л., 1973; Великое наследие: Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975; «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.— В соавт. с А. Панченко; «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978.

Дмитрий Лихачев

СОЛОВКИ

Вспоминая сейчас то, что было более шестидесяти лет тому назад, я прихожу к выводу, что самое трудное — восстановить время, когда произошло то или иное событие. Я ясно помню, зрительно помню, почти вижу людей, их лица, природу вокруг Соловецкого кремля, роты, поверки, слышу расстрелы, вспоминаю содержание разговоров, но расположить все это в хронологически правильном порядке очень трудно. Как будто бы в моей памяти фотографические пленки с событий, записи разговоров, но они лежат не по порядку. Вот почему я избрал «топографический» принцип в расположении своих воспоминаний: по местам и о местах заключения. Как ни странно, вспоминая именно так, мне постепенно удается восстанавливать и последовательность всего происходившего.

Из разговоров на Соловках в 1929 году я помню: плотность «населения» на Соловках больше, чем в Бельгии. При этом огромные площади лесов и болот не только не населены, но неизвестны.

Что же это было на Соловках? Гигантский муравейник? Да, муравейник был — между зданиями трудно было даже протолкаться. Давка была при входе и выходе у тринадцатой роты — рядом с Преображенским храмом. Охранники из заключенных с палками (дрынами) наводили порядок. И при этом вход и выход был не каждому — только с нарядами. Ночью проходы между зданиями затихали...

Существовали безымянные лагеря в лесу. В одном из них я был и заболел от ужаса увиденного. Людей пригоняли в лес (обычно в лесу были болота и валуны), заставляли рыть траншею (хорошо, если были лопаты). Две стороны этих траншей были повыше и служили для сна вроде нар; центральный проход был глубже и обычно весной заполнялся талой водой. Чтобы залечь в такой траншее спать, надо было переступить через уже лежавших. Крышей служили поваленные елки и еловые ветви.

Когда я был в такой траншее, чтобы спасти из нее детей, то в этой траншее «шел дождь»: снег сверху уже таял (это был март или апрель 1930 года), сливался и на земляные лежбища, и в центральную канаву, которой надлежало быть проходом.

Я уже не говорю о «комариках» (наказание, применявшееся летом), о том, как не пускали на ночь и в эти траншеи, когда не выполнялся «урок» или «ударный» план... После одного такого посещения в 1931 году у меня открылись сильнейшие язвенные боли, которые вскоре прошли, так как появилось язвенное кровотечение, перенесенное мною «на ногах»...

В этих-то лесах главным образом и погибали заключенные.

В тридцатом году осенью умерли тысячи «басмачей» — изнеженные мужчины в халатах и шелковых башмаках. Умерли интеллигенты, которых мы, жившие в кремле, не успели перехватить из тринадцатой и четырнадцатой рот...

В нашей камере, за окном которой часто посвистывали и пытели паровозики Солжеде, жило пять человек. Один топчан стоял под окном, примыкая к подоконнику, а вдоль длинных стен стояло по два топчана (впрочем, вместо одного из топчанов помещался жесткий деревянный монастырский диван). Меня, как новичка, да к тому же и самого молодого, положили под окно, из которого нещадно дуло. Другие четверо были любопытными людьми. Прежде всего — А. Н. Колосов — «папашка», как его звали в криминальном кабинете молодые, обожавшие его люди. Он носил великолепную седую бороду, которую, впрочем, хвалился сбрить, как только получит свободу. Каждое утро он вставал раньше других, массировал лицо, расчесывал бороду перед маленьким зеркальцем.

Был ли он самовлюбленным человеком? Нет, думаю, он хотел вернуться к семье «таким же» — красивым, моложавым, учтивым, интеллигентным. Я это понял, когда приехала на свидание его элегантная жена и хорошенькая дочка, с которыми он нас всех «кримкабовцев» познакомил в «шалмане», нанятом для свидания у какого-то блатного заключенного. Но о «папашке» — в дальнейшем.

Другим моим сожителем по камере в третьей роте был Борис Николаевич Афинский. Это был кассир УСЛОНа. Кем он был на воле, не знаю. Был он всегда в хорошем настроении и разыгрывал из себя влюбленного (а может, и в самом деле?) в молодую женщину, работавшую в музее. Звал он ее в своих рассказах «Душенька». Как была ее фамилия, я не знаю. Он обязательно рассказывал по вечерам: встретил ли ее на улице, когда вели партию женщин, или в УСЛОНе, или в том же музее, куда ему

удавалось иногда прорваться, но не поговорить с ней. Она была красива лицом, носила длинные юбки до пят, имела синие глаза. Вся камера радовалась, когда ему удавалось увидеть ее хоть секунду. Он смеялся, все смеялись, но всегда прилично. Когда все в камере собирались пить на ночь кипяток из своих железных кружек, первый вопрос задавался Афинскому: «Ну как Душенька? Удалось ли взглянуть?» Я помню его худое лицо с тонкой иссохшей кожей. Мы с ним иногда поздно вечером ходили зимой 1929 года на Святое озеро покататься на коньках, которые были нам сделаны на мехзаводе из сломанных двуручных пил. Прекрасные были коньки! Однажды мы пошли кататься в какой-то черный туман. Мороз был сырой и суровый. Взявшись за руки, мы разучивали «голландский шаг». Афинский был в арестантском бушлате. Заболел. Пришлось положить в лазарет. Я навещал его. Он был чрезвычайно слаб, но улыбался мне и говорил, что выздоравливает. Воспаление легких наложилось на его извечный туберкулез. Он умер, и тело выбросили в какую-то заготовленную с осени яму. Наверное, голым: бушлат и старая его одежда были нужны другим...

Нашим сокамерником был генерал Осовский из старой дворянской фамилии, восходившей, по его словам, к византийским Палеологам. Мы в шутку называли его претендентом на греческий престол и пытались, смеясь, спрашивать его о «греческих делах». Шутки как-то не выходили. Он работал сторожем, а сторожам ничего не давали на квитанцию (нам, работавшим, давали рублей по девять в месяц, и мы покупали себе сухофрукты и селетки в часовне Германа Соловецкого, превращенной в ларек). У меня была банка сгущенного какао. И когда вечером Осовский садился против меня со своей кружкой пустого кипятка, я давал ему ложку сгущенного какао. Это не нравилось «папашке», который неизменно говорил ему, что надо пойти работать на оплачиваемую должность. Я помню, как получил он письмо от своей матери из Парижа, в котором она жаловалась на скуку, несмотря на свое увлечение карточной игрой в покер. Письмо разозлило его страшно. Как может она ему, «мученику», жаловаться на скуку, да еще играя в азартную игру по вечерам?! Впрочем, о своем здоровье он заботился — выходил по утрам до поверки на улицу, раздетый до пояса (вернее — до своих генеральских брюк с красными лампасами), и обтирался снегом. В 1929 году его освободили по болезни и отправили в ссылку.

Еще один заключенный был барон Дистерло. Вот уж в ком не было ничего баронского. Я бы его назвал веселым простым парнем. Часто хохотал. Был вечно деятельным, подвижным, не-

унывающим. Казалось иногда, что он доволен своей жизнью. Отличный товарищ, всегда готовый помочь другим, хотя бы своей физической силой. Был он тоже, как и Афинский, каким-то счетным работником в УСЛОНе...

Загадок передо мной память оставила много. То я ясно вижу пред собою мельчайшие подробности, прямо-таки картины, то не помню основного.

В третьей роте по утрам бывали поверки. Освобожден от них был только «папашка». Мы выстраивались в коридоре, пересчитывались, выслушивали постоянные нотации командира роты Егорова. Егоров был строевой офицер, требовал, чтобы топчаны были аккуратно заправлены, в камерах — чисто. Заслоненный тюфяком с соломой, подушкой с сеном, которые мне добыл Федя из сельхоза, висел у меня серебряный складень, который дали мне при прощальном свидании мои родители. Складень у меня быстро пропал: взял его Егоров («не положено»). Вернуть себе его я не смог («не положено, не положено!»).

Лето 1929 года было теплым и прекрасным. Шли этапы, к которым надо было быть готовым. Я научился уже давно держать вещи собранными к вызову: «Вылетай пулей с вещишками!» К осени аресты стали расти. Арестовали Сиверса, Готерона де ла Фосса, арестовали моего знакомого с сортоиспытательной станции (теперь на ее месте аэродром), но главные аресты пришлось на октябрь. Арестовали Георгия Михайловича Осоргина — делопроизводителя санчасти, освобождавшего от тяжелых работ многих интеллигентов. Помню его отлично. Бравый блондин среднего роста в круглой шапке чуть-чуть набочок («два пальца над правым ухом, три — над левым»). Часто он ходил в мороз с открытой головой. Всех, кого арестовывали, уже не выпускали, они были обречены. Неожиданно к Георгию Михайловичу приехала жена на свидание. Под честное слово (были ж такие времена!) его выпустили из карцера. Затем приказали уговорить жену уехать на два или три дня раньше. Он это сделал. Жене он не сказал, что будет расстрелян. В день расстрела арестовали (добавили к списку) Багратуни, Гацука и Грабовского — всех троих на спортстанции. Я перечислил немногих из своих знакомых, тех, кого помню.

28 октября по лагерю объявили: все должны быть по своим ротам с какого-то часа вечера. На работе никто не должен оставаться. Мы поняли. В молчании мы сидели в своей камере в третьей роте. Раскрыли форточку. Вдруг на спортстанции завыла собака Блек. Это выводили первую партию через Пожарные во-

рота. Блек выл, провожая каждую партию. Говорят, в конвое были случаи истерик. Расстреливали двое франтоватых (франтоватых по-лагерному) с материка: «начальник войск Соловецкого архипелага» Дегтярев и наш начальник культурно-воспитательной части Дм. Вл. Успенский.

Про Успенского говорили, что его загнали работать на Соловки, чтобы скрыть от глаз людей: он убил своего отца (по одним сведениям дьякона, по другим — священника). Срока он не получил никакого. Он отговорился тем, что «убил классового врага». Ему и предложили «помочь» при расстреле. Ведь расстрелять надо было триста или четыреста человек. Часть расстреливали на Секирке.

С одной из партий получилась заминка в Пожарных воротах. Высокий и сильный одноногий профессор Покровский (как говорят, читавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, как замороженные. Расстреливали прямо против женбарака. Там слышали и понимали — начались истерики. Могилы были вырыты за день до расстрела. Расстреливали пьяные палачи. Одна пуля — один человек. Многих закопали живыми, слабо присыпав землей. Утром земля над ямой шевелилась.

Мы в камере считали число партий, отправленных на расстрел, по вою Блека и по вспыхивавшей стрельбе из наганов.

Осенью ко мне приехали на свидание родители. Мы жили в комнате вольнонаемного охранника (были охранники и из заключенных), с которым родители познакомились на «Глебе Бокком» и договорились о его комнате за плату. Комната была в гостинице, что на горушке сзади УСЛЮНа.

Я жил у родителей, аресты шли. Однажды ко мне пришли вечером из роты и сказали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня приходили арестовывать. Я сказал родителям, что меня вызывают на срочную работу, и ушел: первая мысль была — не при родителях! Я пошел к Александру Ивановичу Мельникову, в комнату, где он жил над шестой ротой и Филипповской церковью. Стучусь, он не открывает. Но уйти он не мог. Я стучусь все громче. Наконец, Мельников мне отворяет. Он одет. За столом сидит молодая женщина — я ее знал, она была схвачена по делу о фальшивых деньгах.

Увидев меня, Мельников успокоился. Успокоился и сделал мне строгое внушение: «Если за вами пришли, нечего подводить других. За вами могут следить». Дверь захлопнулась. Я понял, что поступил плохо. Ведь и он мог быть подведен под расстрел.

Выйдя на двор, я решил не возвращаться к родителям, пошел на дровяной двор и зачихнул между поленицами. Дрова были длинные — для монастырских печей. Я сидел там, пока не повалила толпа на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Чего я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!

С той страшной ночи во мне произошел переворот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь была только толчком.

Я понял следующее: каждый день — подарок Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишней день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще: так как расстрел в этот раз производился для острастки, то, как я узнал, было расстреляно какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек. Ясно, что вместо меня был взят кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы тому, которого взяли за меня, не было стыдно!..

Между тем новая погоня за благосклонностью Сталина овладела головами начальства. С Соловков начался массовый вывоз заключенных на материк. Задолго до официального открытия строительства, соединяющего Белое и Балтийское моря, в Медвежьей Горе уже строилось здание нового управления Беломорканалом, воздвигались бараки для заключенных в Медвежьей Горе и Повенце.

Уехал и Володя Раков, и Федя Розенберг, и многие другие. Жить стало еще тоскливей. Я подружился с племянником Короленко — сыном его брата Владимиром Юльяновичем Короленко. Он часто приходил в кримкаб, благо, работал в том же здании УСЛОНа. Он тоже получил пропуск, и мы вместе гуляли с ним по окружающим кремль лесам, восхищались красотой острова, небес, игрой красок на море, закатами.

Я считал своим долгом ходить на Пересыльный пункт и выручать оттуда интеллигентных людей. Помню, что я выручил оттуда Михаила Дмитриевича Приселкова — замечательного историка русского летописания. Предложил ему работать в музее (договорившись с Н. Н. Виноградовым), но Михаил Дмитриевич отказался.

В другой раз я выручил из Пересыльного пункта историка Василенко.

Федя из Медгоры слал мне вызов за вызовом. Не хватало счетного персонала. На воле стали срочно арестовывать бухгал-

теров, даже самых молчаливых, на которых нечего было доносить. Меня Федя характеризовал как выдающегося счетного работника, которому можно поручить главную картотеку Беломорканала. Меня вызвали с вещами («Вылетай пулей с вещишками!»). У меня уже был заказан чемодан — очень прочный: из фанеры, оклеенной старой лазаретной простыней, и покрашенный в коричневый цвет.

В следующий приход «Глеба Бокия» я выехал в Кемь. Я уже свободно стоял на палубе, смотрел на удаляющийся остров.

И вдали промелькнули огоньки:

Соловки, Соловки, Соловки...

Ночевал я в Кеми на Вегеракше в бараке, а утром в вагонзаке с другими меня отправили в Медвежью Гору.

Приезд в Медвежью Гору был для меня праздником. Я чувствовал освобождение, хотя предстояло перенести немало жестокого. Но я видел через цепи конвоя «вольных» людей, свободный город. Это так важно. К тому же после тьмы соловецких зимних дней здесь сверкало солнце...